

и. генкин

Г 34

20 — 1
23

9:323.2(47), 19

УЧИЛИЩЕ
СОВЕТСКОЙ АРМЕИ
ФБ

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

и

ВОССТАНИЕ НА „ОЧАКОВЕ“

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ
1905 — 1925

23723-5



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
МОСКВА—1925—ЛЕНИНГРАД

1939. 1

Принесено 1947 г.

Принесено

1939

5-я ТИПОГРАФИЯ
„TRANSCHEATI“ НКПС
„ПРОЛЕТАРСКОЕ СЛОВО“
Южный переулок, дом № 4.
Главлит № 45302. Тираж 25000.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

1448-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КНИГООБМЕННЫЙ
ФОНД



2005005182

Приближался октябрь 1905 г.

Поток радикальной и социалистической литературы, наводнивший всю Россию, начиная еще с конца лета, проникал и в казарму, проникал даже без содействия социалистических организаций. Если кто-нибудь из матросов или солдат уходил из казармы или с корабля в город, то устраивалась складчина, по пятакам и гривенникам, собирали пару-другую рублей и покупали издания «Молота», «Колокола», «Буревестника», «Донской Речи», а также последние номера газет—народнического «Сына Отечества» и полумарксистской «Нашей Жизни». Все это читалось и комментировалось совершенно открыто.

Газеты заговорили небывало смелым, свободным языком—вещи стали называться своими именами. Проклятый «старый порядок», ненавистная «бюрократия» были у всех на устах. Всюду в казармах дебаты, споры. В споры эти стали вмешиваться и господа офицеры. Нередко бывало и так, что обе стороны, увлекшись, забывали и чинопочтание, и ту пропасть, которая отделяла чопорное «его высокородие» от смиренного «нижнего чина».

В Севастополе кипело, как в котле,—откуда только активность взялась у «верноподданных», веками сдавших под прессом полицейщины. Все спешило

«самоопределиться», спешило на улицу, на митинг.

В это время Севастополь напоминал не маленький городишко, а скорее столицу Европы во время избирательной кампании. Выползшие из подполья организации с.-р. и с.-д. развивали необычайную деятельность. Митинги устраивались преимущественно в городском саду, в летнем театре, в рабочих слободках, а то и просто на огромной барже, перевозившей рабочих из порта (с судостроительного завода) на другой берег.

Движение это возглавлялось, главным образом, социал-демократами меньшевиками.

Замечательнее всего было то, что на митингах, как самопроизвольно устраивавшихся, так и организуемых социалистическими организациями, все чаще и чаще начали мелькать фигуры **матросов и солдат**, сперва в качестве слушателей, жадно ловивших каждое слово, а потом и в качестве ораторов, выступавших с речами грубоватыми, наивными и не совсем выlossenными, но зато горячими и искренними.

Это было невиданное зрелище. **«Святая скотинка»**, как когда-то окрестил русского солдата генерал Скобелев, «нижний чин», первой и последней обязанностью которого было меньше думать и больше повиноваться, солдат, на покорности которого держался весь старый порядок, вот эти-то рабы царской казармы, ни у кого не спросишь, стали появляться на трибуне. Военная щинель замелькала наряду с классической студенческой тужуркой и рабочей косовороткой.

Начальство, разумеется, не на шутку нахмурилось. Пошли запрещения и репрессии. Но нахмурились и «нижние чины».

Одиночки из солдат и матросов сперва пробирались на митинги в сквер нелегально, но потом стали устраивать свои собрания хотя и отдельно, но совершенно открыто, возле казарм.

Растерянность властей как центральных, так и местных, была в эти месяцы и недели так велика, что адмирал Чухнин долго не знал, как быть: по-отечески ли улыбаться, как это делали в других местах иные губернаторы, или по-начальственному — кричать и карать.

В начале ноября в Севастополе сформировался новый руководящий центр соц.-дем. военной организации. Месяца за полтора до этого разгромлена была прежняя военная организация, приходилось наспех устанавливать утерянные связи, спаивать в одно разбросанных в разных частях флота социал-демократов и сочувствующих.

Среди военных особенно выделялся своей энергией, сознательностью с.-д. Иван Сиротенко.

В упомянутый центр вошло и двое «штатских»: Николай Лазаревич Конторович *) и Иван Петрович Вороницын **).

*) Николай Лазаревич Конторович — фармацевт по профессии. Старый член РСДРП — один из первых организаторов работы среди военных в Севастополе. Еще в 1905 году начал свою работу среди артиллеристов, попал в тюрьму, где и просидел с небольшим промежутком до лета 1905 года. Человек горячий и рассудительный, Конторович на следующий же день по выходе из тюрьмы ринулся в работу, отыскивая старых знакомых, скрепляя связь с организацией.

**) Иван Петрович Вороницын — еще юношей примикинул к марксистским кружкам, с пылом молодости принял участие в рабочем движении. Сидел в тюрьме, был сослан в Архангельскую губернию, откуда бежал заграницу. Через некоторое время вернулся обратно в Россию на «работу», где и был вскоре арестован и просидел до октября 1905 г. По делу Очаковского восстания, как и Конторович и др., был приговорен к смертной казни. Смерть была заменена пожизненной каторгой. Освободила их Февральская революция.

Всеобщее оживление, огромный поток агитационной литературы, а также чрезвычайная растерянность высшего начальства—не могли не сказаться на настроении матросов. «Митингование» сделалось повальным явлением.

С.-д. военная организация, сама по себе очень революционно настроенная, проявляла, однако, большую сдержанность и осторожность.

Она считала, что активное выступление флота и армии в помощь всероссийской революции—это дело отнюдь не ближайших дней.

Но зато настроение матросской и солдатской массы революционизировалось **с каждым часом**.

Достаточно было бросить в среду, насыщенную недовольством и протестом, несколько лозунгов, как немедленно начиналось революционное движение.

Так всегда и бывает в революционные эпохи. То, что в обычное время, в периоды «мирного», «постепенного», «органического» развития созревает годами, то в эпоху революционных бурь и ураганов нарастает и созревает в течение недель и суток.

Несомненно, далеко не все матросы и солдаты были революционно настроены. Несомненно, что огромное количество их еще не было втянуто в водоворот движения. Но в том-то и состоит **искусство** революции, **техника** ее, чтоб, нащупав реальные движущие пружины истории, **повести** широкие массы трудящихся на штурм вражеских позиций.

Вторая неделя ноября прошла в довольно многочисленных митингах, бурный характер которых усиливался все больше и больше.

11 ноября должен был состояться большой митинг возле «экипажей», т.-е. возле морских казарм. Адмирал Чухин, очевидно, решил, что уверениям и уговариваниям должен быть положен конец: пора

убеждать матросов силою винтовки и штыка. По его приказанию была заранее приготовлена сборная боевая рота из вооруженных винтовками матросов,—командовали ею капитан Кинда и лейт. Кетлинский. На помощь этой роте на всякий случай была вызвана учебная команда Белостокского полка, под начальством штабс-капитана Штейна.

Явившийся перед началом митинга контр-адмирал Писаревский, начальник учебного отряда Черноморского флота, счел нужным, как мне рассказывали матросы, обратиться к боевой роте с краткой речью и напоминанием о долге, присяге царю и проч. Тут же он поставил на вид необходимость пустить в ход огнестрельное оружие, если только крамольники и бунтовщики не разойдутся сразу.

— А если на митинге будут наши отцы и братья, то что же—и в них стрелять?!..—раздался голос матроса Петрова, члена с.-д. организации.

— Разумеется!..—твердо отчеканил адмирал,— и в них придется стрелять!...

— Ага, раз так,—так вот же тебе, дракон—и, став на одно колено, Петров сделал два выстрела из винтовки; первым он ранил контр-адмирала Писаревского, а вторым попал в капитана Штейна (последний умер в ту же ночь).

По словам одного моего сопроцессника, Петров после выстрелов предлагал арестовать себя, прибавив:

— Любовь к братьям заставила меня убить врагов...

Произошло это совершенно неожиданно. Поднялась суматоха. Петрова арестовали, но толпа в несколько сот матросов, вооружившись винтовками, потребовала его освобождения. Многие матросы, остававшиеся в экипажах, с криками: «Восстание!.. Восстание!..» хотели было броситься с оружием в руках в Морское Собрание, переполненное, как

всегда, офицерами, но прибывавшая из города Наташа Вольская*) удержала их от этого намерения. Ее испугали возможные эксцессы. Матросы разоружили и выпроводили (не арестовали, а выпроводили...) некоторых офицеров и, по предложению Наташи, приступили к выборам временного совета депутатов. Освобожденного героя Петрова назначили дежурным по дивизии.

Матросы, расположенные недалеко от них солдаты Брестского полка, а также рабочие адмиралтейства, явившиеся в количестве нескольких тысяч, образовали митинг, где все упорнее и упорнее стали раздаваться крики:

— Забастовка!.. Забастовка!..

Тут же матросы и солдаты, сами, без участия посторонних, выработали следующие требования, которые должны быть предъявлены через адмирала Чухнина центральному правительству:

- 1) Освободить всех политических матросов и солдат на поруки матросов и солдат и предать их гласному суду.
- 2) Удаление из города всех боевых рот, казаков, снятие военного положения, отмена смертной казни.
- 3) Неприкосновенность личности депутатов.
- 4) Полная свобода вне службы. Право посещать все общественные места и собрания.
- 5) Устройство библиотек и читален за счет казны. Выписка книг и журналов по желанию нижних чинов.
- 6) Вежливое обращение офицеров с нижними чинами на «Вы» и отмена титулов вне службы.

*) Одна из выдающихся организаторов и сподвижников РСДРП.

7) Увеличение жалованья от пяти до 10 рублей в месяц. В плавании жалованье матросам должно быть увеличено в два раза больше. Увольняемым в запас должно быть выдано единовременное пособие в 50 рублей.

8) Уменьшение срока службы: для солдат—до двух лет, а для матросов—до четырех лет.

9) Все посторонние работы, как, напр., погрузка угля и ремонт казарм, должны производиться наемными рабочими.

10) Немедленно освободить всех запасных и окончивших сроки действительной службы, а также увольнение всех сверхсрочно служащих.

11) Ежегодный месячный отпуск с сохранением жалованья и дорога за счет казны.

12) Офицеры не должны иметь никаких военных прислуг для своих домашних надобностей.

13) Ограничить частое служение, т.-е. несение служебных обязанностей без пользы: бесполезные судовые работы, например, спускание и подъемание шлюпок на берег. Применить паровые или какие-нибудь двигательные, а не мускульные силы.

14) Оклад на приварочное довольствие: для армии—каждый день 15 копеек, а для матросов в море—каждый месяц 13 руб. 60 к., а на суше 8 руб. Право распоряжаться продовольственной суммой принадлежит команде как во флоте, так и в армии. Не делать никаких вычетов из этой суммы; остатки выдавать каждому на руки.

15) Устроить склады с обмундировочными вещами и выдавать одежду по чекам: для матросов в год на 60 рублей, а для солдат—на 40 рублей. Оставшиеся суммы от обмундирования выдавать каждый год как матросам, так и солдатам.

16) Получившим какое-либоувечье на службе должна выдаваться пожизненная пенсия, но не менее

60 рублей в год, причем в комиссии для назначения пенсии и определения степени должны участвовать представители нижних чинов, выбранные командой.

17) Офицеры должны ежедневно заниматься с нижними чинами по два часа в служебное время.

Сверх этого, матросы и солдаты присоединяются к всеобщим российским требованиям: 1) немедленного созыва учредительного собрания на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, и 2) 8-часового рабочего дня *).

Чтобы привлечь на свою сторону колебавшихся «брестцев», была выпущена (правда, с опозданием) следующая прокламация, составленная студентом Соловейчиком (Птицыным):

«Товарищи братья, мы, матросы Черноморского флота, обращаемся к вам с горячим словом убеждения, не верьте тому, что говорят вам вечные насильники и кровопийцы наши офицеры и попы... Третьего дня, ночью, когда вы были в своих казармах, они убеждали вас, будто мы враги народные, будто мы хотим ограбить вас, отнять вашу кассу. Вы поддались их лживым словам, ушли из казарм, забрали кассу, готовились защищаться от нашего нападения. А они, негодяи, спаивали вас водкой и заставляли приносить присягу.

Товарищи, ваши офицеры подло лгут вам: никогда в мыслях мы не имели кого-нибудь грабить, никогда не изменяли мы родине. Всегда поступали по совести и разуму своему: Лгут они все это потому, что боятся, чтобы вы не соединились с нами в наших требованиях. Они хотят обмануть вас, хотят сде-

*) Эти два пункта не были опубликованы тогдашним телеграфным агентством. Лишнее доказательство того, как мало можно верить псевдоцензурным газетным сведениям о ходе восстания, о речах Шмидта и т. д.

ять вас слепым орудием в своих, не раз уже народной кровью забрызганных, руках, хотят натравить и направить вас против нас и против всех, стоящих за народные нужды.

Братья-солдаты, мы не грабители и не изменники какие, только не стало мочи у нас сносить дальнеше притеснения начальства и проклятые порядки российские.

И мы все, как один, выставили требования, которые каждый из вас может прочесть. Мы требуем, чтоб солдат был признан человеком, чтобы улучшили нам пищу и увеличили нам жалованье, чтоб уменьшили срок службы, чтоб обращались с нами по-людски, а не по-скотски, чтобы и солдатам даны были те права, которые возвещены всему народу манифестом 17-го октября, права свободно собираться, свободно обсуждать свои и общие народные нужды, свободно читать газеты и книги. Мы требуем, наконец, со всем великим русским народом, чтобы немедленно было созвано всенародное учредительное собрание.

Пусть будут всем народом выбраны представители, которые устроят русскую землю, которые одни смогут и улучшить жизнь рабочего и крестьянина, наделить землей и упорядочить наше солдатское житье. Наше дело—правое, наше дело—не только наше солдатское, но и всенародное.

Солдаты, не давайте спаивать себя, не поддавайтесь лжи и обману офицеров и попов. Оказывайтесь стрелять в своих товарищах и братьев. Следуйте примеру крепостной артиллерии, саперной роты и тех из ваших товарищах, которые перешли на нашу сторону.

Присоединяйтесь к нашим требованиям. Вместе с нами боритесь до конца за свои человеческие права и за святое народное дело.

Товарищи-братья, да здравствует свободный солдат!

Да здравствует единение войск с народом!

Да здравствует всенародное учредительное собрание!!

Депутаты от матросов и солдат».

Попытки напечатать текст означенных требований и прокламаций в военной типографии не увенчались успехом. Выручил владелец небольшой частной типографии, который за деньги отпечатал нелегально требования повстанцев, а также и пару маленьких воззваний, написанных впоследствии лейтенантом Шмидтом.

Чухнин почти склонялся к удовлетворению некоторых требований матросов, обещал ходатайствовать о сокращении срока службы, увеличении жалованья и частичной демобилизации, но лишь *после прекращения «мятежа»*. Последний пункт (задержка с демобилизацией уже отбывших службу и подлежащих увольнению в запас) играл немалую роль в деле возбуждения матросов и солдат против начальства.

12 ноября еще с раннего утра матросы и рабочие, а также солдаты запасного батальона и часть артиллеристов с крепостных батарей собрались сперва возле казарм Брестского полка, потом ринулись во двор и устроили митинг. Брестцы оказали им довольно радушный прием. Офицеров разоружили и отпустили по домам (впрочем, не просто «отпустили», а «изгнали»...—во всяком случае не арестовали, предоставив им возможность действовать против добродушных повстанцев...).

В это время, к казармам подъехали комендант севастопольской крепости, генерал-лейтенант Неплюев и начальник пехотной дивизии, генерал

Седельников. Их остановили и потребовали распоряжения убрать пулеметы, поставленные ими на Историческом бульваре. Когда они отказались сделать это, их высадили из кареты, арестовали и отвели в один из матросских экипажей, если не ошибаюсь, их посадили даже в карцер при дивизии.

Чтоб поднять настроение и привлечь к восстанию остальные части гарнизона, матросы решили пойти демонстрацией к казармам другого—Белостокского полка. На это ушло много времени и хлопот. В разгар суеты, в комнату, где заседал совет депутатов, прибегают некоторые сочувствующие артиллеристы и спрашивают:

— Как быть с крепостными орудиями? Заклеить их и сделать негодными? Или же арестовать офицеров и оставаться при пушках?

Вопрос чрезвычайной важности. Не знаю, к кому именно обратились артиллеристы. Но работы было так много, **вооруженное** восстание так ново и непривычно, что на вопросы артиллеристов не обратили почти никакого внимания, отдавшись общими фразами.

После обеда несколько тысяч матросов, рабочих и солдат разных частей стройными рядами с двумя оркестрами музыки и красными знаменами (рабочие носили знамя РСДРП) двинулись к месту стоянки Белостокского полка. С демонстрантами пошли и брестцы; среди них давно уже вели агитацию солдаты: Яков Киршенштейн, Могилевский и Михаловский.

Все демонстранты были безоружны. Пройдя Екатерининскую улицу, они двинулись на Новосильцевскую площадь. Оркестр заиграл «боже, царя храни»,— таковы силы рабской традиции. По команде своего начальника, полковника Шульмана, белостокцы взяли на караул и на гимн ответили громким «ура». Повстанцы не ожидали такого приема, но вместо

Того, чтобы смеяться с белостокцами, изолировать их от начальства и увлечь за собой, они остановились в нерешительности. По команде начальства белостокский оркестр заснул «боже, царя храни», морской оркестр ответил тем же. И так несколько раз подряд.

Солдаты очень охотно выслушивали речи ораторов, но присутствие начальства не меньше, чем соизвестительная пассивность повстанцев, мешало им тут же последовать призывам ораторов и присоединиться к демонстрантам. Это тем больше, что ораторы скорее приспособливались к настроению массы, чем вели ее за собой.

Полковник Шульман, опасаясь, чтоб матросы, в конце концов, не овладели «его» полком, скомандовал: «кругом марш», и белостокцы повернули домой. Демонстранты двинулись за ними. Находчивый полковник отдает тогда тут же на ходу новое приказание, и белостокцы, не заворачивая к себе в казармы, направляются в лагерь...

Демонстранты побоялись, что это их заманивают в поле, чтоб там с ними расправиться. Они повернули назад, часть их все же ворвалась в казармы белостокцев, но и не подумала разоружить и арестовать находившихся там офицеров.

Полковник Шульман, поняв, что с уходом его части в поле, город остается почти без «верных присяте» солдат, собирался отступить к г. Балаклаве и оттуда по телеграфу вызвать из Одессы и Симферополя правительственные войска. Когда к вечеру выяснилось, что демонстранты мирно вернулись назад, белостокцы тоже вернулись в свои казармы.

Не дремал и командир Брестского полка, полковник Думбадзе. Едва брестцы пришли домой с демонстрации, он немедленно и наспех увел их в лагерь. Фельдфебеля и унтер-офицеры пустили в ход все свое влияние и запугивание. Думбадзе вызвал экстренно

православного священника, который и привел солдат к новой присяге на верность «царю и отечеству». Порвавших связь с повстанцами солдат, так ловко изъятых из сферы соприкосновения с матросами, угостили тут же бубликами и водкой.

Между тем солдаты-патриоты, окоплещенные воспитанники царской казармы, требовали освобождения генералов Неплюева и Седельникова, угрожая стрелять из пушек.

Вороницын, Конторович и др. уговаривали Совет не выпускать из своих рук заложников. Но благодушное большинство после непродолжительных прений постановило освободить Неплюева и Седельникова. И это, несмотря на то, что оба генерала отказались даже на словах пообещать, что не будут предпринимать враждебных действий против повстанцев...

Через несколько дней комендант севастопольской крепости, генерал Неплюев, энергично подавлял севастопольское восстание.

...Спустя много месяцев один севастопольский матрос, член с.-р. боевой организации, бросил бомбу в того же генерала.

То была месть героя-одиночки.

«Толпа», несознательная и плохо руководимая толпа, освободила генерала на свою голову, а оторванный от «толпы» герой пошел вымешивать свою злобу *).

Между тем на крейсере «Очаков» нарастали крупные события, главным героем которых является лейтенант Шмидт, Петр Петрович.

Родился Шмидт 5 февраля 1867 г. в Одессе, где он провел свое раннее детство. Отец его — моряк,

*) Кстати: бомба взорвалась в толпе перед собором во время парада: матрос погиб, погибло несколько посторонних женщин и детей, генерал Неплюев остался жив и невредим...

умерший в чине адмирала. Воспитывался Шмидт почти исключительно в женском обществе, среди сестер и матери, дочери княгини Сивирской, богатой домовладелицы. Незадолго до смерти матери Шмидт с сестрами переехал в небольшой городок Бердянск. Из гимназии он перешел в морское училище, в Петербурге,—еще юношей Шмидт избрал карьеру отца.

В дальнейшем он пользовался репутацией лучшего капитана и опытного моряка, которому доверялись большие пароходы. Большую часть своей жизни Шмидт провел в море, делая продолжительные рейсы в тропические страны; неоднократно посещал он также Англию.

С раннего детства Шмидт отличался нервностью и чуткостью. Позднее чуткость эта приняла форму активного идеализма, восторженной любви к «униженным и оскорбленным».

Он воспитывался под влиянием публицистов: Н. К. Михайловского и Н. В. Шелгунова и экономиста-народника — Карышева Н. А., которые и сделали из него кающегося дворянина, восторженно относящегося к «меньшему брату»—мужику и рабочему. Характерно для Шмидта—«рабочелюбие», как вспоминает его сестра. Страстная любовь к природе, к животным, к музыке (он сам играл на скрипке и виолончели, рисовал акварелью) не заглушали в нем острого интереса к тому, как живет и мыслит фабричный рабочий. Приехав мичманом в Бердянск, Шмидт однажды сбросил свою офицерскую шинель и поступил на завод сельскохозяйственных орудий. Горячо и гневно, часто со слезами на глазах он возмущался уродливыми условиями труда, жизни и сиротством рабочих. Это—пусть кратковременное и случайное—увлечение Шмидта весьма

гармонирует с его натурой пылкой, увлекающейся и идеалистической.

Личная жизнь Петра Петровича сложилась крайне неудачно: смерть матери, чуткой и образованной женщины, и самоубийство старшей сестры ввергли его в безумное горе. Не меньше горя причинила ему и женитьба (19—20-летним юношей) на пошлой и абсолютно чуждой ему женщине, которая не брезговала даже доносами на его политическую неблагонадежность. А зимой 1906 г., когда Шмидт находился в ожидании смертной казни, особа эта ограбила его квартиру, вымогала его именем деньги у сочувствовавших революции лиц и газет и почти в то же время давала использовать себя суворинскому «Новому Времени», которое печатало за ее подпись гнуснейшие пасквили на очаковского героя. Помнится, сыну Шмидта приходилось в газетах же вступать в полемику со своей матерью, опровергая ее наглые, темные и клеветнические выпады.

Имя «лейтенанта Шмидта» стало все чаще и чаще повторяться в городе в середине октября 1905 г.

Еще накануне опубликования манифеста 17 окт. Шмидт устроил первый в Севастополе открытый митинг. В день 17 октября, еще до получения в городе известия о манифесте, он назначил второй митинг с докладом о всеобщем избирательном праве.

Узнав о получении в Севастополе манифеста, Шмидт бросился в редакцию газеты, прочел телеграмму, которую там же осмеял вместе с рабочими типографии.

«Мы вместе с ними впервые огласили Севастополь нашим «ура». Слишком много страданий вынесла душа за последние годы, слишком велико было счастье победы. Я не мог и не хотел отходить от рабочих. Они странно и с недоверием смотрели на

меня из-за моей формы, но сильна была моя благодарная любовь к ним, и они скоро поняли чуткой душой своею, что я весь, всегда был, есть и буду с ними. И я стал все чаще и чаще слышать от них ласковое и доверчивое «**товарищ**». Спасибо вам, рабочие. Не будь вас здесь, я был бы сиротлив и одинок в эти лучшие минуты жизни.

Наши красные знамена весело развевались, гремел на бульваре оркестр марсельезу, победную песнь над тиранцией, и мы стояли под своими знаменами с обнаженными головами. Я стоял с ними, с товарищами, близкий им, как никогда, с глазами, полными слез радости»...—в таких словах П. П. Шмидт передает восторженное настроение, всех тогда охватившее *).

Шмидт останавливается на политике хитрого министра Витте после 17 октября 1905 г.

«Куда они (реакционеры во главе с Витте и Треповым) ведут нас?—К страшной, небывалой в истории народов кровавой революции. Теперь и повернуть то поздно. **Перешли грань. Не успокоит деревню и учредительное собрание**, порвавшаяся струна в мужицкой душе... Горько, душа надрывается... За что, за что они так мучают нашу родину? Возмездия, одного возмездия требую я. Нет казней, достойных этих злодеяний. Буря в груди и жажда смерти, или своей или врага. Так жить нельзя. Надо кончить эти русские муки бесконечные».

Момент требовал активности. Шмидт очень верно уловил основную задачу дня: необходимо правильно согласовать действия всех сил, направленных против самодержавия царя, помещиков и буржуазии.

*) Анна Избаш. «Воспоминания сестры Шмидта». Изд. Ред. Изд. Отд. Морского Комисариата, 1923 г.,

«Я пойду на большоё светлое дело, с которого многие не вернутся,—писал он Зин. Ив. Р.*).—Революция, конечно, поглотит меня всего целиком, и кто ведает, буду ли я к лету среди уцелевших, или лягу со многими другими».

Вечером 18 октября состоялась большая демонстрация. Огромная толпа подошла к тюрьме, где продолжали еще сидеть политические, и потребовала их освобождения. Толпа хотела приступить к разгрому тюрьмы, но ее удержало обещание «сейчас же» выпустить заключенных. Обещание не было выполнено, а по наущению начальника тюрьмы Светловского и по приказу не то капитана, начальника караула, не то унтер-офицера, Тараса Жупина, охранявшие тюрьму солдаты дали залп в толпу, человек восемь убили на месте (в том числе и одного матроса) и десятка два ранили.

«В нас стреляли в день свободы без предупреждения,—писал Шмидт З. И. Р. ночью 19 октября в большом, очевидно, возбуждении, несколько выпячивая свою собственную роль.—В ту же ночь я собрал экстренное заседание гласных думы. Редактировал телеграммы с протестами от разных слоев населения. Заседал я в думе на правах гласного 18 часов подряд и превратил этих толстопузых флегматиков в протестующих борцов. На другое утро на митинге народном я был выбран в числе других представителем от народа для участия в работах думы.

За эти дни сделано все: город освобожден от войск (я потребовал, чтобы вся дума полным составом шла за мной к коменданту крепости ставить ему требования), вместо войск ходят по городу патрули из рабочих (народная охрана), казака ни одного.

*) Любимая женщина Шмидта.

На стенах думы, этой смиренной рабыни, по моему требованию, поддержанному всем народом, будет повешен на вечные времена пергамент с надписью, гласящей, что такие-то начальствующие лица совершили гнусное убийство свободных граждан и что дума постановила оставить потомкам их деяние, чтобы заклеймить на вечные времена имена убийц и показать, как карают свободные граждане тех, кто посягает на их неприкословенность. Истребовано освобождение матросов «Потемкина», удаление полицмейстера, постановлен бойкот директора гимназии. Ко мне приходят депутаты всех учебных заведений для подачи своих петиций.

Поднимался вопрос выбрать меня временным представителем города. Я отказался и просил прежнего голову продолжать работать со мною. Думаю, что ошеломленное начальство побоится арестовать меня, так как слишком велика власть народа в эти дни и велика моя популярность в городе. Если это и был фейерверк, то он принес много пользы*).

Расстрел невинных людей, да еще на другой день после «дарования» царем свободы, вызвал всеобщее возмущение. Возмущение это усугублялось известиями о сотнях еврейских погромов, открыто организованных с благословения свыше по всей России полицией, с невероятным количеством зверски изувеченных и инквизиторски истерзанных жертв, в том числе стариков, женщин и детей.

Городская дума, послав Витте протестующую телеграмму с требованием предания виновных суду,

* См. книгу «Лейтенант Шмидт». Письма и воспоминания. Изд. Центроархива. 1922 г. стр. 169.

Эта замечательная книга составлена из материалов, сданных в Госуд. архив Зинаидой Ивановной Р.

снятия военного положения, общей амнистии политических заключенных и отмены смертной казни, постановила также похоронить убитых на общественный счет.

Получив ходатайство об этом, адмирал Чухнин сперва приказал городскому голове и думе «не вмешиваться не в свои дела», но потом, в виду телеграммы из Петербурга, удовлетворившей ходатайство гор. думы, Чухнин отменил свой запрет и, через начальника штаба 13-й дивизии, предложил даже гор. думе оркестр Брестского полка для участия в похоронной процессии.

Похороны убитых состоялись 20 октября. Привозить их собралось тысяч двадцать народа, шли с музыкой, со знаменами, плакатами. Кладбище едва-едва вместило огромные толпы народа. После городского головы Максимова, радикально настроенного дельца, вышедшего из народа, слово взял лейтенант Шмидт.

«Это был экстаз вдохновения,—припоминал он в письме к З. И. Р. от 21 октября.—Я сам не узнавал своего голоса, он стал каким-то твердым и че́моим».

И действительно, это была замечательная речь.

«У гроба подобает творить одни молитвы,—так начал свое слово Шмидт,—но да уподобятся молитве слова любви и святой клятвы, которую я хочу произнести здесь, вместе с вами.

Они, убитые, неся с собой весть радости, спешили передать ее заключенным, они просили выпустить их и за это были убиты. Они хотели передать другим высшее благо жизни—свободу и за это лишились самой жизни. Страшное, невиданное преступление. Великое, непоправимое горе. Теперь их души смогут на нас и вопрошают безмолвно:

«Что же вы сделаете с этим благом, которого мы лишены навсегда? Как вы воспользуетесь свободой? Можете ли вы обещать нам, что мы—последние жертвы произвола?».

И мы должны успокоить смятенные души усопших, мы должны поклясться им в этом.

Клянемся им в том, что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав!.. Клянусь!..

Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы. Клянусь!..

Клянемся им в том, что свою общественную работу мы всю отдадим на благо рабочего, неимущего люда! Клянусь!..

Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, а что мы все отныне будем равные, свободные братья Великой Свободной России! Клянусь!..

Клянемся им в том, что мы доведем их дело до конца и добьемся всеобщего избирательного права! Клянусь!..»

Эти торжественные призывы, произносимые морским офицером в обстановке, насыщенной зловещим трагизмом, гипнотизировали многотысячную толпу, и одни со слезами и плачем, а другие с готовностью отомстить царским опричникам, вслед за Шмидтом поднимали вверх руки и, вторя ему, кричали:

— Клянемся... Клянемся... Клянемся...

В тот же день по приказу адмирала Чухнина, как бы в виде комментария к тому, как надо понимать провозглашенную Витте и Николаем II «неприкосновенность личности», Шмидта арестовали, доставили в штаб морского флота, затем, безо всяких разговоров и допросов, под конвоем

отвели на броненосец «Три Святителя» и бросили в каморку, где, чтоб не задохнуться, воздух накачивался через трубу. Через 10 дней Шмидта перевели в военный госпиталь, а 3 или 4 ноября совсем освободили,—новое доказательство растерянности власти.

Речь Шмидта, опубликованная в столичных газетах, и весть об аресте лейтенанта-революционера облетели всю Россию.

Севастопольские рабочие, избравшие Шмидта своим «пожизненным депутатом» постановили послать депутатию к Чухнину с требованием его освобождения. Вслед за рабочими к всесильному адмиралу обратились и представители города с оригинальным предложением: «если Чухнин хочет гарантированного порядка, то пусть он передаст этому революционеру все полномочия по успокоению населения».

Находясь под арестом на броненосце «Три Святителя», Шмидт опубликовал открытое письмо, в котором он призывает граждан не верить манифесту 17 октября, а **захватным путем, прямым действием** раз и навсегда овладеть «человеческими правами».

Увлеченный мыслью о величественности своего положения и предстоящей ему роли, **«гражданин—лейтенант Шмидт»** (**«социалист вне партии»**) призывал всех, «кому дорога свобода, кому дорого счастье родины», сделать суд над ним гласным, в обширном помещении при представителях населения и печати:

«Тогда скамья подсудимых превратится для меня в трибуну, с которой я нанесу последний тяжкий удар ненавистному режиму. У меня для этого достаточно сил... помогите же мне... Помните, граждане,

что мое дело, это—дело народа, моя победа, это есть победа свободы над произволом».

Письмо это было помещено во всех газетах. Призыв Шмидта нашел широкий отклик. Либералы и радикалы забросали редакции газет протестами и требованиями освобождения лейтенанта Шмидта. **Чухнину пришлось уступить.** Он приказал освободить его, но через день—два прислал ему секретное предписание не появляться на митингах и не писать в газетах: «а ежели он будет присутствовать на сходке или вообще заниматься агитацией, то немедленно же будет (снова) арестован и предан суду за неисполнение лично данного ему приказания».

Чтоб не давать повода к новому аресту, Шмидт подчинился приказу Чухнина, но фактически «работал по 20 часов в сутки».

«Сегодня я свободен,—писал он З. И. Р.,—и весь день ушел на очень утомительные переговоры с представителями города и социалистических партий, которые, кстати сказать, **очень сухо** относятся ко мне, как к человеку, желающему оставаться самостоятельным и не желающему **принимать участия в их партийных распрях...** Домой я вернулся совершенно разбитый. Противно и гадко все это, время ли прёпираться, когда минуты терять нельзя и дела всего не переделаешь, и суток нехватает»..

Шмидт не был постоянен в своих настроениях. Через несколько дней после письма З. И. Р. он писал своей сестре следующее:

«Я революционер, т.-е. человек порядка. Насилие—средство наших врагов. Средства современной революции были давно разработаны и с успехом применяются нами. Насилие—не наше средство: я социалист вне партий и сохраняю самостоятельность, хотя **давно пользуюсь доверием обеих партий...** По политическим убеждениям каждый со-

циалист — республиканец: я, хотя и склонен сам больше к республике, — но нахожу пока возможным проведение в жизнь социалистических форм при демократической конституции и выборном начале, проведенных по всем ступеням власти».

Эффектность событий, участником которых история сделала лейтенанта Шмидта, его мученическая смерть окружили этого человека ореолом, который долго затруднял более спокойную и обективную, я бы сказал, более «научную», оценку его, как политического деятеля.

В 1905 г., когда (как это всегда бывает в эпохи высокого общественного подъема) все, что было в стране прогрессивного, совершенно бессознательно искренне «левело», дотоле чуждый общественности рядовой обыватель вдруг становился активным либералом, — либерал мнил себя радикалом, а радикал — чуть ли не социалистом, — в это время и П. Шмидт считал себя то соц.-дем., то соц.-рев., — во всяком случае убежденнейшим социалистом.

Более всего он склонен был считать себя сторонником партии с.-р., слывшей тогда самой «левой» из социалистических партий, считавшейся прямой наследницей «Народной Воли» и выдвинувшей из своих рядов таких героев, как Гершунин, Балашев, Егор Сазонов, Каляев... И действительно, в те именно годы, когда партия с.-р., «широкая рабоче-крестьянско-интеллигентская» партия, представляла собой разные социально-психологические элементы, — Шмидту легче и проще всего было считать себя примыкающим именно к соц.-револ.

Не знаю, во что вылилось бы мировоззрение П. Шмидта, если бы Николай II и Чухнин не поторопились казнить его.

Настроение команды на «Очакове» делалось все более возбужденным. Матросы собирались аресто-

вать офицеров и присоединиться к восстанию на берегу. Группа матросов с «Очакова» отправилась к Шмидту на квартиру и после долгой беседы и споров, ссылаясь на то, что его же речи и агитация немало содействовали взрыву восстания, предложила ему взять на себя командование крейсером.

Шмидт согласился.

Еще за день до этого он на митинге севастопольских рабочих убеждал «бросить все экономические требования и перейти исключительно к политическим забастовкам». Он думал уехать с тою же пропагандой в Одессу к матросам торгового флота, затем в Киев и другие фабричные районы.

По этому поводу Шмидт пишет: «Я измучился в усилиях доказать несвоевременность такого, не связанного со всей Россией, матросского мятежа, но они, как стихия, как толпа, не могли уже отступать, так как много беды натворили под влиянием с.-д., бессмысленно поднявших их на преждевременную, неорганизованную стачку.

Бросить этих несчастных матросов я не мог, и я согласился руководить ими только в том случае, если они отбросят все требования, кроме учредительного собрания» (З. Р.).

В тот же вечер Шмидт вместе с несколькими матросами отправился в экипажи, где заседал совет депутатов. Председательствовал Ив. Петр. Вороницын, главный руководитель восстания. Получив слово, Шмидт произнес речь, смысл которой сводился к следующему:

... — Не надо никакого вооруженного восстания; это не только лишне, но и вредно. **Единственное** средство добиться политической свободы, улучшить положение крестьян, рабочих и матросов с солдатами,—это новая, всеобщая, единовременная, все-российская **политическая забастовка**. Необходимо,

чтобы движением руководил один центр, союз столичных рабочих советов и железнодорожных комитетов....

...Начатое севастопольскими рабочими движение — прежде временно, надо прекратить... Надо подождать, пока «Союз Союзов» нажмет из Москвы **кнопку**, вся Россия забастует, жизнь на миг замрет, самодержавие окончательно рухнет, и тогда требования народа, в том числе и требования повстанцев, найдут свое осуществление...

Шмидту возразил Вороницын. Разбив некоторые его предпосылки, он с успехом доказал, что нельзя оставлять вне организационного воздействия стихийные вспышки, иначе они выльются в беспорядочный бунт, а не в революционное действие... Восставшим матросам остается один только путь: продолжать начатое дело, не отступая... Наоборот, надо втягивать, пусть в преждевременное, но уже начавшееся движение **остальные части** флота и гарнизона....

В этом же смысле высказались и некоторые другие депутаты, в том числе и матросы с «Очакова».

Они снова настойчиво просили его взять на себя командование Красным крейсером.

Доводы Вороницына и матросов как-будто повлияли на Шмидта. Он не мог не согласиться с утверждением, что отступить назад, приостановить движение, как нибудь затушить его — немыслимо и вредно.

По свидетельству И. П. Вороницына, произведенный в присутствии Шмидта подсчет сил убедил его, что **«толк будет»**. Шмидт предложил свои услуги, чтобы захватить офицеров и завладеть эскадрою. Было решено вести наступательные действия на суше и на море.

Видный участник восстания, очаковский матрос Василий Карнаухов уверяет, что у Шмидта был даже план **изолировать Крымский полуостров** с Перекопского перешейка, и сделать, таким образом, Крым прочной и длительной базой революции.

Сам же Шмидт в письме от 24 декабря, вспоминая недавнее прошлое, уверяет, что на «Очаков» он поехал, **сознавая, что все погибло**, поехал лишь для того, чтобы поднять эскадру в защиту морских казарм, которые Чухнин окружает артиллерией, намереваясь начать бойню. То же самое Шмидт заявлял и на суде, где он, в ожидании смертного приговора, вообще, старался (невольно и бессознательно) смягчить свою роль в восстании.

«Команда знала, что первым условием моего участия в деле было не пролить ни капли крови, и команда сама не хотела крови. Что же давало нам убеждение в необходимости, в полезности нашего протеста? Что делало нас восторженными и верующими, когда все вокруг было так безнадежно и беспомощно? Откуда мы почерпнули ту высокую радость, которая охватила всех нас, несмотря на всю грозность надвигающихся событий. В чем была наша сила?»

Задав ряд таких вопросов, Шмидт тут же на суде отвечает: сила эта была в глубоком, проникнувшем все мое существо и тогда и теперь сознании, что с нами бог, с нами русский народ... (З. Р.).

В той же своей речи Шмидт доказывал, что он стоял только за **мирные** средства борьбы, был противником мятежных действий и даже всеми силами **рвался переговорить с Чухниным**, чтобы получить от него полномочия, с которыми он мог бы успокоить людей... Матросы сами пришли к нему... И если он пошел, то для того лишь, чтобы не допустить убийства, намереваясь противопоставить силе Чухнина силу

матросов, а если это не поможет, то хоть умереть с матросами, протестуя поднятием красного флага. «Если бы я не пошел к ним, когда они звали меня, то оставаясь дома, при первых звуках канонады, я сам наложил бы на себя руки».

Шмидт считал крейсер «Очаков» беспомощным и неспособным к самообороне. И, несмотря на это, он 14 ноября в 2 часа дня торжественно вступил на крейсер.

Вместо казенного георгиевского флага был поднят красный. Когда он взвился, Шмидт воскликнул:

— Клянемся нашим вымпелом!...

Через день Шмидт за подписью «**командующий флотом** «**гражданин Шмидт**» послал телеграмму Николаю II: «Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, немедленного созыва учредительного собрания и перестает повиноваться вашим министрам».

Шмидт сделал это от собственного имени, не только без санкции, но и без ведома остальных руководителей восстания, засевших в морских казармах.

В этом **неожиданном и абсолютно бесцельном и неуместном обращении к Николаю II** проглядывает один из многих уродливых зигзагов в политическом мышлении и политическом поведении Шмидта.

Впрочем, в этот день, в день 15-го ноября, настроение Шмидта, вообще, было напряжено до последней черты. Самочувствие было до того подавленное и нервозность его была до того чрезвычайна, что после неудачного об'езда эскадры на миноносеце, Шмидт вернулся на «Очаков» совершенно расстроенный и разразился громкими проклятиями по адресу «рабского города, где господствуют одни предатели, шпионы и опричники, где для свободных людей нет места».

Он зарыдал и упал на грудь одному матросу.

Между тем движение захватило и саперов. Пропаганда, которую после потемкинских событий ловко повел среди них студент «тov. Кондрат», общее возбуждение, охватившее всех, да еще ряд обстоятельств местного бытового характера привели к тому, что саперы очень скоро присоединились к восставшим на берегу матросам.

Не малую роль, как, впрочем, и во всем этом движении, сыграло то обстоятельство, что начальство, заеденное канцеляршицей и тупым равнодушием к судьбе «нижнего чина», очень медлило с отпуском домой солдат, уже кончивших срок службы и вышедших в запас. Значение имел еще и тот факт, что как среди матросов, так и среди саперов, очень много было **квалифицированных рабочих**, которые не отличались большой верностью.

Когда представители матросов явились к саперам с предложением присоединиться, те с радостью согласились и послали в совет депутатов несколько человек. Среди них выделялись арестованные до этого и потом освобожденные: Булат, Петропавловский, Горонжа, затем кончивший сельско-хоз.училище солдат Назаренко и старший унтер-офицер, бывший железнодорожный машинист, Максим Степанович Барышев.

Способный и впечатлительный, всю свою молодость чего-то искающий, Барышев, за отсутствием подходящих людей и книг, долго блуждал в потемках. О социалистах он впервые узнал на военной службе, но не от революционеров-пропагандистов, а от одного из поручиков, оригинальной и сильной натуры, крайнего реакционера и монархиста.

Офицер этот сумел внушить темпераментному и страстному Барышеву такую ненависть к социалистам, что попадись ему в то время какой-нибудь...

«внутренний враг», он растерзал бы его на месте. Зато, когда жизнь и люди показали Барышеву, где именно эти внутренние враги народа обретаются, он с пылом новообращенного сделался ревностным социалистом. В дальнейшем—уже на каторге—из него вышел образованный марксист.

Искренний и правдивый человек, чудесный товарищ, к тому же нечто вроде начальства,—старший унтер-офицер, Барышев пользовался большим влиянием среди саперов. Когда приехавший к нему 13-го ноября утром генерал Колосов в длинной речи пытался удержать саперов от присоединения к матросам, Барышев ответил ему краткой, но убедительной речью, закончив ее неожиданной для генерала командой:

— Налево! Кругом, марш! Разойтись по местам.

По этой команде солдаты, как стояли вооруженные винтовками и запасными патронами, повернули к берегу и, переехав на яликах бухту, поднялись по длинной каменной лестнице наверх к матросам. Из экипажей выбежали депутаты, явились музыканты, посыпались приветствия, матросы обнимали и целовали сиявших от восторга саперов. Впереди них шел с обнаженной шашкой Барышев.

Из броненосцев к восставшим первым примкнул «Потемкин», в свое время доставленный из Румынии, отремонтированный и по приказу царя переименованный в «Святого Пантелеимона». Однако, имя подвижника церкви, заменившее имя греческого фаворита, не спасло команду броненосца от крамольных идей. Более того, «Пантелеимон» как бы являлся местом ссылки, куда морское начальство торопилось сплавлять мало-мальски подозрительных в политическом отношении матросов. Таким образом, на бывшем «Потемкине» очутилось много сознательных революционеров.

Среди них надо отметить Захара Циому, по убеждениям соц.-рев., бывшего до военной службы батраком, видавшим в своей жизни немало горя и нужды. До мозга костей проникнутый ненавистью к панам и чиновникам, чуждый компромиссов, Циома, раз усвоив необходимость борьбы с «драконами», не отступал от этого сознания ни на шаг.

По отважности и энергии ему не уступал упомянутый уже соц.-дем. Иван Сиротенко. Последний, как и многие другие матросы и саперы, кончал уже военную службу, но жажда борьбы и сознание необходимости помочь начавшемуся движению удержали его от искушения вернуться, наконец, домой после семилетней разлуки.

Когда начальство пронохало, что на бывшем «Потемкине» не все благополучно, броненосец посетил сам адмирал Чухнин.

Выстроив команду, он произнес речь, в которой очень нелестно отзывался о революционерах, как о врагах родины, ставленниках «жидов» и проч. Но не успел он кончить, как из строя выскочил Сиротенко и в смелых выражениях разбил адмирала по всем пунктам. Растерявшись, Чухнин попробовал было возразить Сиротенко, но в середине речи вдруг расчувствовался и... заплакал.

Факт: этот черствый и жестокий старик, верный слуга «престола и отечества», гроза черноморского флота, человек с огромными полномочиями и привилегиями, заплакал самым искренним образом, видя крушение того, с чем он в течение многих десятилетий так крепко сжился.

Однако, человек решительный и с выдержкой, Чухнин сейчас же пришел в себя и неожиданно властным голосом закричал:

— Арестовать Сиротенко!!!

Но едва кто-то из многочисленной свиты, окружавшей Чухнина, устремился к Сиротенко, как команда, возбужденная и взволнованная, в свою очередь закричала:

— Не трогать Сиротенко!.. Долой драконов!..

Начальству с Чухниным во главе оставалось только ретироваться и поскорее с'ехать на берег. Однако, враги народа, имея за собой многовековой опыт, даже в припадке отчаяния редко теряют самообладание. Так, оставляя «Потемкин», Чухнин все же распорядился **убрать** подальше и спрятать **ударники** от могучих орудий, находящихся на броненосце»...

«Очаков» окончательно очутился в руках повстанцев. Поднявшись на борт корабля, Шмидт взошел на капитанский мостик и обратился с речью к матросам.

«...Невинные жертвы рабочих и крестьян волиют о мести,—говорил он.—Надо продолжить дело, начатое друзьями народа... Нас посыпали воевать с японцами, но лучше умереть за свободу здесь, умереть для всего народа, а не для кучки грабителей....»

После речи к матросам Шмидт предложил офицерам дать **честное слово** в том, что они не будут месть повстанцам. Желающим, в которых можно было не сомневаться, он предложил с'ехать на берег, зато заведомых черносотенцев, или офицеров, которых выдавала команда, он брал заложниками.

Утром 15 ноября в бухту прибыл из Одессы пассажирский пароход «Пушкин». Полагая, что на пароходе находятся войска, Шмидт задержал его. Среди пассажиров находилось двое студентов, выехавших из Одессы домой. Оба они—Александр Владимиrowич Пятин и Петр Александрович Моищев, остались со Шмидтом. Переоделись в матросские костю-

Мы и приняли участие в дальнейших событиях. Среди очаковцев очутился также и харьковский «сознательный» рабочий, портной, живший по паспорту Ялинича. Сперва он был на «Потемкине», но потом перешел на «Очаков», где и помогал Шмидту.

К «Очакову» сравнительно скоро присоединились контр-миноносец «Свирепый» и три номерных миноносца. На остальных судах начальство все еще не выпускало власти из своих рук, а матросы пока-что активно своего сочувствия к восстанию не проявляли.

Даже на «Потемкине» не было единодушия среди команды, хотя там и было больше всего сознательных. Революционную часть матросов возглавлял Захар Циома, немало было среди них и переодетых рабочих из порта, из адмиралтейства. Верх брала то одна партия, то другая, в связи с чем на броненосце поднимался то красный, то георгиевский флаг. Остальные мелкие суда во всем подражали «Потемкину», которого они просто боялись, как крупнейшей боевой единицы.

С целью приготовления к обороне был захвачен арсенал,—в деле этом большую помощь оказали портовые рабочие, заодно переарестовавшие наиболее реакционных администраторов и мастеров завода.

Предстояла главная задача—присоединить к «Очакову» остальные суда и арестовать офицеров,—Шмидт взял это дело на себя.

С целью поднять настроение эскадры Шмидт перешел на миноносец «Свирепый» и об'ехал все корабли. В сопровождении боевой роты и музыки Шмидт первым делом направился к учебному судну «Прут», обращенному в тюрьму, в которой находились осужденные по делу «Потемкина».

Пушки «Очакова» на всякий случай были цаправлены на «Прут». Шмидту без особого труда удалось

освободить арестованных и арестовать несколько офицеров.

Имея за собой баркас с матросами, «Свиrepый» останавливался перед каждым судном, и Шмидт громким голосом произносил речь, лейт-мотивом которой было:

— Товарищи, мы поднялись за правое дело!.. Мы восстали против рабства и угнетения!... Нам довольно мучений крестьян и рабочих.... За нами бог, царь и весь русский народ... Армия тоже присоединилась к нам, присоединяйтесь же и вы!... *)

По всей вероятности, наиболее сомнительные места из этих речей представляли лишь так наз. «агитационный» прием, ибо вряд ли сам Шмидт серьезно думал, что бог покровительствует крамольникам и что царь одобряет восстание, направленное против царского же самодержавия.

«Лояльный» тон шмидтовских речей, конечно, никого не соблазнил. С некоторых судов раздавалась грубая брань, главным образом, со стороны офицерства. Особенной реакционностью отличался броненосец «Ростислав». Не только высший, но и низший его состав выделялся своим монархизмом и враждебностью к тому, что творилось на берегу и на «Очакове».

Такая неудача расстроила Шмидта, о чем очевидец очень живо и правдиво рассказывает:

«Последним поднялся на крейсер Шмидт; лицо его было грустное, молча прошел он всю палубу,

*) Содержание речей Шмидта я передаю со слов моего сопроцессника, матроса Ив. Штрикунова, сопровождавшего Шмидта на «Свиrepом». То же самое подтверждают и другие матросы, сидевшие со мною в Шлиссельбургской крепости. Любопытно, что фраза: «с нами бог, с нами русский народ» приводится и сестрой Шмидта в изложении его речи на суде. (А. И.).

поднялся по лестнице и взошел на мостик. Некоторое время стоял задумчиво, потом начал:

— Товарищи! Я не ожидал такого поражения, какое пришлось испытать. Я не думал, что кругом нас будут такие жалкие, темные рабы. Я надеялся, что все присоединятся, и совместной силой мы победим несправедливость, но нас, братьев, приняли за врагов. К какой команде ни подъезжали, вместо привета нам посыпали проклятья и называли врагами отечества. Вот с какими людьми мы имеем, оказывается, дело.

— Дорогие товарищи! Если на нашу участь выпало то, чтобы одним оставаться на поле битвы, пусть! — мы будем бороться. Пусть умрем с глубокой верой, что боролись за свободу! Если наши страдания здесь будут тщетны, отправимся в другие города: в Одессу, в Феодосию,—там будем способствовать народному восстанию, с народом вместе будем бороться. Удалимся от этого рабского мира, от этого проклятого города, где господствуют одни предатели, шпионы и опричники, где для свободных людей нет места, а есть только проклятие.

— Будь же проклят ты, рабский город!» — воскликнул он громко и протянул руки к городу. Потом зарыдал и упал, ослабевший, на грудь одному матросу. Матросы обняли его и начали целовать. При этом почти у всех показались слезы на глазах, и слезы эти не означали уныние, а жалость к рабам-братьям.

Шмидт опомнился сразу и обратился к матросам:

— Товарищи! Простите, если выказал слабость; очень устал; пойду немножко отдохну. — В это время вперед выступил потемкинский делегат.

— Товарищ Шмидт! Вы ошибаетесь! «Потемкин» уже присоединился! Обождите, я все расскажу...

— Нет, нет! — воскликнул Шмидт. — Вы брато-продавцы, изменники! Вы враги! Мне противно

с вами говорить; вы с проклятием прогнали меня, когда я под'ехал к вашему броненосцу...

— Товарищ Шмидт, подождите...

— Нет, я не товарищ вам! Уйдите! Если не хотите, чтобы вас называли предателями, идите, арестуйте всех офицеров на «Потемкине», подымите красное знамя, тогда будете достойны говорить со мною, а пока удалитесь, изменники!

Взволнованный Шмидт отправился в каюту отдохнуть.

Потемкинский депутат несколько раз пытался сказать слово, но его прерывали. Все решительно требовали ареста офицеров и поднятия красного флага на «Потемкине». После некоторого спора решили отправиться туда с боевой ротой, арестовать офицеров и присоединить команду. Моментально собрались матросы в миноноску и направились к «Потемкину». Отправляясь, потемкинский делегат обратился к очаковцам:

— Пушки направьте к «Потемкину», чтобы не оказал сопротивления.

Мы все собирались около разведчика. Не сводя глаз он следил и по временам сообщал нам:

— Приняли наших депутатов!... Офицеров арестовывают!... — Все эти вести мы встречали с большим восторгом и кричали «ура».

— Красное знамя принесли! — сообщал разведчик.

Еще одна минута, и на историческом броненосце поднялось красное знамя. Все с величайшей радостью смотрели, как, развеваясь, поднималась выше и выше эта эмблема свободы.

С «Очакова», с «Потемкина», с миноносок и берегов раздалось громкое радостное «ура». Такое чувство, такой восторг должен сам испытать человек, его передать нельзя.

Скоро привели арестованных офицеров и обыскали. Приведенным офицерам матросы об'явили:

— Кто посягнет на жизнь Шмидта, тот будет наказан смертью.

Офицеры равнодушно выслушали это заявление, и их отвели в арестантскую каюту. Скоро вышел Шмидт, лицо его заметно озарилось радостью с появлением красного флага на «Потемкине».

...Теперь очередь была за броненосцем «Ростиславом». Послали депутацию. Ростиславцы приняли. Нас охватила радость, в восторге были и потемкины, все кричали «ура».

Прошло несколько минут, и на «Ростиславе» подняли красное знамя. Кругом раздалось «ура» и заиграла музыка, но всеобщая радость сразу прекратилась, когда увидели, что знамя опустилось вниз. Разведчик грустно заявил, опустив бинокль:

— Знамя порвали...

Мы молча ждали известия с «Ростислава». Депутация вернулась и сообщила, что часть присоединилась, но противное большинство взяло верх и не позволило поднять красное знамя.

Все опечалились, а Шмидт с надеждой говорил:

— Ничего, пусть не присоединяются! Мы только времени не должны терять, как можно скорее нужно вооружить «Потемкина». Ну-ка, кто из экипажских, сейчас же отправляйтесь и начинайте перевозить на «Потемкин» снаряды и **ударники орудий!**

—...Мы сели в катер, на котором отправлялась музыка в экипаж,—сообщает дальше **очевидец** после того, как он с'ехал с «Очакова»—музыка заиграла «боже, царя храни», потом турецкий марш. Несколько матросов хотели сыграть марсельезу, но другие не согласились:

— Прежде переведем на свою сторону гимном «боже, царя храни», а потом и марсельезу сыграем.

Мимо кого ни проезжали, все кричали «ура», кроме тех судов, которые не примкнули к «Очакову». Тут мы заметили, что в шлюпке плавало 10 матросов с андреевским флагом. Они подплывали к каждому судну и уговаривали не прымкать к «врагам отечества» и подчиниться прежнему начальству. Кто соглашался с ними,—поднимали андреевский флаг, а кто нет—красный. Так вся эскадра делилась на две враждебные стороны. Мы приблизились к экипажу; там, на горе, развеялось красное знамя.

Вся гора была покрыта городскими рабочими и матросами, приветствовавшими всякий катер или шлюпку под красным флагом криками:—ура, да здравствует «Очаков» и «Потемкин»!

Мы пристали к берегу и сошли. С берега увидели, что на конце рейда еще пять судов подняли красное знамя: один был броненосец, другие—транспорты и крейсера.

В течение утра 15 ноября вооруженные команды из дивизии продолжали занимать мелкие суда, во время обеда группа вооруженных повстанцев на шлюпках подошла к «Пантелеимону» и свезла на «Очаков» оставшихся там офицеров. Когда же после долгих поисков удалось, наконец, отыскать ударники от потемкинских орудий, ликование не было конца.

— Урра!.. Наша взяла!!!...—с криком вбежал во двор дивизии Конторович, большая черная борода и интеллигентное лицо которого мало гармонировали с матросским костюмом, который он, конспирации ради, успел напялить на себя.—Наша взяла!... Победа!... Ура!...

— Ура! Ура!!—закричали мы все. Подойти же к «Потемкину» из-за вражеских выстрелов катеру с ударниками не удалось.

После обеда суда, стоявшие вдоль восточного берега Южной бухты, стали одно за другим поднимать красные флаги.

Но не дремали и враги. Генерал Каульбарс (главнокомандующий войсками одесского военного округа)—энергичный и умный черносотенец, за ним генерал Меллер-Закомельский (начальник 8-го армейского корпуса)—тупой и бездарный, но смелый и прямолинейный солдафон, отличавшийся потом при усмирении волнений в Сибири и Прибалтийском kraе, и, наконец, адмирал Чухнин—сошли нужным оставить позицию наблюдателей.

Из разных городов были вызваны пехотные части. Чтоб не подвергать воинские поезда обстрелу со стороны повстанцев, а также в виду забастовки железнодорожников на станции Севастополь, приходившие войска высаживались в 20 верстах от города и отсюда двигались пешком *).

Из Симферополя прибыл батальон Литовского полка, из Феодосии—часть Виленского полка, пришли еще пехотные части из Одессы, Павлограда и других мест. Солдаты поверили офицерам и искренно шли усмирять матросов и «жидов», которые не только восстали против царя, но и грабят, мол, мирное население, насилуют женщин, совершают поджоги и т. д., и т. п.

В начале 4-го часа 15 ноября началось усмирение.

*) Еще до того, что саперы переехали в морские казармы, у начальства был проект мобилизовать специалистов из них в качестве железнодорожных машинистов. Максим Барышев и еще некоторые, узнав об этом, решили вызваться «добровольцами», с целью пустить воинские поезда под откос, но их не взяли.

В ответ на это Шмидт поднимает на «Очакове» сигнал: «Имею много пленных офицеров, считаю их заложниками».

Как видно, когда того потребовали обстоятельства, Шмидт вел себя вовсе уже не таким христианским ягненком или либералом, как его рисуют некоторые авторы. В методе заложничества Шмидт усматривал одно из наиболее подходящих средств предупредить вооруженный разгром почти безоружного крейсера со стороны правительственных судов.

Но Шмидт ошибся. Командующий **класс** не остановился перед уничтожением нескольких десятков своих же сочленов, лишь бы вывести из строя цитадель революции.

После первого же выстрела со стороны усмирителей Шмидт немедленно отдал канонирам соответствующее приказание и предложил контр-миноносцу «Свирепому» плыть к экипажам, приготовив мины и орудия. В виду важности момента командовать «Свирепым» вызвался Сиротенко.

«Я—рассказывает И. П. Вороницын—тоже спустился на миноносец не столько, чтобы быть участником первого боевого действия, сколько для того, чтобы быть ближе к флотским казармам, где мое присутствие было необходимым».

Сиротенко стоял на мостице, судорожно ухватившись за поручни, с выражением суровой решимости на смуглом красивом лице.

— Мы им покажем, как стрелять в народ! Мы им покажем! — повторял он.

Команда его звучала резко и уверенно.

Из Южной бухты, обогнув Павловский мысок, «Свирепый» пошел на большой рейд между «Ростиславом» и «Память Меркурия». У нас все еще была надежда, что, увидя миноносец готовым к атаке, верные правительству суда **РОССИЙСКАЯ МИЛITIA**. Наше **ГОСУДАРСТВЕННАЯ** **БИБЛИОТЕКА**

внимание в этот момент было привлечено мчавшимся на всех парах катером. Здесь раздался выстрел, и катер, пораженный в самую середину, мгновенно пошел ко дну.

Этот выстрел был как бы сигналом, и мы в свою очередь подверглись ожесточенному обстрелу. Первым открыл огонь по нас «Ростислав» из левой носовой башни и из винтовок, и в то же мгновение к нему присоединились «Память Меркурия» и минный крейсер «Капитан Сакен».

Среди грохота взрывов и визга пуль громко раздавался голос Сиротенко, отдававшего приказания. Наше орудие на мостице дало несколько выстрелов по «Ростиславу».

Затем наступил конец. Из машинного отделения сообщили, что снарядом испорчена машина. Разрушенная взрывами корма стала уходить в воду. Канонир, стоявший возле нас на мостице, был убит. Поражаемые осколками снарядов и пулями, градом сыпавшимися из поставленных на Историческом бульваре пулеметов, люди бросались в воду или укрывались в носовой кубрик. Туда же втолкнул Сиротенко и меня, а сам, после некоторых колебаний, бросился в воду.

Обвинительный акт, холодно, казенными словами описывающий гибель «Сиротого», так характеризует этот последний момент: «однако «Сиротый» красного флага не спускал и продолжал стрелять до тех пор, пока не получил таких повреждений, что потерял способность двигаться, причем были разрушены все надстройки его палубы»... Около получаса нас еще обстреливали из пулеметов. Пули непрерывно стучали по броне кубрика и по палубе, но когда один из матросов спустил красный флаг, у нас наступило затишье.

Зато гроза бушевала над «Очаковым». Не только «Ростислав» перенес на него свой орудийный огонь. Его громили и крепостные батареи, и полевая батарея, расположенная на северной стороне.

Несчастный крейсер, лишенный способности маневрировать, сопротивлялся недолго: первые же неприятельские снаряды вызвали на нем пожар. Люди гибли в огне, на горящем крейсере, от осколков непрерывно рвавшихся снарядов, а спасавшиеся вплавь или на лодках жестоко расстреливались. Приказ руководившего усмирением известного палача барона Меллер-Закомельского «о беспощадности» исполнялся не за страх, а за совесть. Ненавистный Красный крейсер еще в течение долгого времени служил мишенью озверевшим палачам, а затем на бухте все стихло.

Еще до своего выбытия из строя «Свирипый» хотел было взорвать минный транспорт «Буг», стоявший в Южной бухте. На «Буге» было триста боевых мин и огромное количество пироксилина. Еще больше динамита и пироксилина было в пороховых складах за городом. Взрыв на «Буге» погубил бы значительную часть города, повлек бы массу жертв, и «Свирипый», сообразив это, отказался от своего намерения.

«Буг» был затоплен начальством.

Оставшиеся в живых на «Свирипом» были сняты с полузатонувшего судна и доставлены на «Ростислав».

Там уже было несколько человек, подобранных на воде. Мокрые, продрогшие лежали они на палубе.

— Нас выстроили в ряд — рассказывает дальше Вороницын, — командир броненосца, хромой адмирал (Феодосеев Г.), набросился на нас, топая ногами и изрыгая ругательства. С особенной силой его

Ярость сосредоточилась на мне: я не переодевался в матросский костюм и моя «вольная» одежда ясно указывала на то, что я «агитатор».

— «Расстрелять его»!!...

Я снял с себя пальто, отдал его только что подобранныму на воде матросу Штрикунову и отошел от товарищей. Было как-то безразличие. Всем существом овладела полная апатия-реакция на пережитый в эти дни нервный подъем. Чувствовалась смертельная усталость, и в мозгу была только одна мысль: скорей бы уж все кончилось.

Очевидно, адмирал ожидал испуга, просьб, слез.. Вышло шесть человек матросов с винтовками. Но тут последовало:

— Отставить! — и я снова занял свое место в ряду товарищей *).

Упомянутый выше очевидец сообщает, что растерявшийся «Очаков» скоро поднял белый флаг, но, несмотря на это, Северная батарея и правительственные броненосцы энергично продолжали пускать в него снаряды. Через минуту мы увидели, что из средней части «Очакова» клубами начал подниматься дым: снаряд разорвался в машинном отделении. Что происходило на самой палубе, мы не могли различить, так как было уже темно.

Вдруг среди грома орудий мы различили стонущие крики:

— Товарищи, помогите!

Мы всмотрелись в море, и — ужас! От самого «Очакова» море покрыто было матросами; их тел не видно было, а высовывались из воды одни только головы, которые казались какими-то плавающими

*). И. П. Вороницын: «Из мрака катарги». Харьков,
стр. 8 и след.

шариками. Они плыли по направлению к берегу и издавали душу раздирающие крики.

Но тут произошло нечто ужасное. Ростиславцам мало было еще победы над «Очаковым», они пустили в ход с броненосца пулеметы и беспощадно начали расстреливать этих отдавшихся морю матросов. На «Очакове» даже не было шлюпок, чтобы хоть часть могла спастись на них—крейсер только месяц как был спущен на воду и не все работы на нем были закончены.

Некоторые матросы успевали добраться до берега, другие делались жертвами пулеметов. К нам доносились последние стоны тонувших матросов.

Мы уже не слышали грома пушек и спешили к берегу, куда добирались спасшиеся матросы. Все они дрожали от холода: на них ничего не было, кроме мокрых фуфайек. Они снимали с себя эту мокрую одежду, а мы взамен давали с себя кто пальто, кто рубашку, и отправляли обогреться в ближайший ресторан.

А с моря все раздавались и раздавались стонущие крики:

— Товарищи, помогите!!!

Мы не знали, как помочь. Нашли маленькую шлюпку, несколько человек отправилось в море спасать тонущих, но скоро вернулись обратно, не успев подобрать и трех-четырех человек, так как и сами боялись сделаться жертвами пулеметов, все еще не прекращавших действия.

Скоро показалась, однако, довольно большая шлюпка с матросами, которые геройски гребли и подбирали раненых и тонущих товарищей. Уже успели спасти около двенадцати человек и спешили к берегу, подбирая по дороге встречных, но жестокий враг не пощадил самоотверженных: злодейской рукой с «Ростислава» былпущен снаряд и вся

шлюпка разлетелась в воздухе на куски, а минутные герои и спасенные ими товарищи навеки ушли в морскую глубину.

Обстрел «Очакова» еще не прекращался. Очаковцам ничего другого не оставалось, как бросаться в море в надежде добраться до берега.

Крики о помощи не давали нам покоя, и как только утихла стрельба из пулеметов, одни из нас отправились в шлюпке в море спасать утопающих, другие на берегу принимали их и вскоре переодевались в сухое.

Стрельба в «Очаков» скоро прекратилась, но дым увеличивался и все большими и большими клубами поднимался в тихое пространство...

В рестораны уже нельзя было больше отправлять; спасавшихся там арестовывали; на берегу также стояли солдаты и арестовывали выходивших повстанцев, но многих нам все-таки удалось выручить—отчасти уговорами, отчасти тайком—и отправить в город.

К берегу пристала шлюпка с матросами. Они спаслись сами и привезли с собой раненого товарища. Его вынесли и положили на берегу, а сами побежали в город.

Ужасно было видеть этого раненого. Левая нога и рука были совершенно раздроблены, рука лежала на груди, нога около. Частью снаряда были вырваны ребра, и кишki валялись на земле...

Матрос еще был жив. Он вздохнул и заговорил:

— Господа, я ранен, а?

— Нет голубчик, нет! Ты не ранен!—инстинктивно ответили все.

— Господа, умру, а?—спрашивал он.

— Нет, не умрешь, только не бойся!—подбадривали мы.

Но что было подбодрять! Его страдания были уже выше человеческого сознания и говорили о смерти. Принесли доску, положили его и ногу и в бессознательном состоянии отнесли в ресторан.

Матросские казармы, находившиеся на горе, в которых засело тысячи полторы повстанцев и десятка два нас, «штатских», тоже не остались без внимания усмирителей: с Малахова кургана, с Исторического бульвара и из полевых батарей в нас палили с 4 час. 15 ноября до самого утра 16-го.

В первый момент все опешили от неожиданности. Когда же стрельба усилилась, все разбрелись, кто куда—одни назад в экипажи, а другие через задний двор и забор подальше от места восстания.

Всюду паника, суета. Никто и не думает обороняться. Тогда дежурный по дивизии матрос по фамилии Крошка, надвинув на лоб фуражку и гремя сбоку офицерской саблей, вскочил в 28-ой экипаж, выхватил «наган», сделал выстрел в воздух и рифмованной матросской руганью выгнал матросов на двор. Быстро выстроив всех и заявив, что немедленно же пристрелит, кто будет трясишь и не пойдет против драконов, Крошка стал отдавать приказания.

Но беда была в том, что у нас мало было оружия.

Во дворе валялись десятки ящиков с новыми револьверами, но не было пуль к ним. Из артиллерийского склада успели притащить днем, на всякий случай, чтобы обезоружить врага, множество ящиков с пульями, но нехватало винтовок. Попробовали приладить к окну пару пулеметов, но долго бегали по экипажам и искали пулеметчиков, а когда их нашли, то оказалось, что совершенно новенькие пулеметы притащены были почти без лент...

Отдельные смельчаки, выбрав подходящие позиции из окон второго этажа, замечательно ловко действовали из винтовок, но какое это могло иметь значение!...

Вдруг огромное пушечное ядро ударилось о стену 31-го экипажа. Другое ядро,пущенное вслед за первым, пробило часть стены 28-го экипажа и повредило трубы у водопровода. Вода стала заливать казарму.

Во время этой суматохи я растерял всех своих сотрудников. Некоторые—В. Могилевский и З. Цыбульский—еще раньше ушли из казармы, я же и студент Соловейчик, переодевшись в матросские костюмы, стали наспех составлять информационный бюллетень. Однако, выстрелы заставили нас, а также и еще одного с.-д., очутившегося среди повстанцев, литейщика Антона Мазина, спуститься во двор. Здесь мы и потеряли друг друга.

Ошеломленный всем происходившим, я прислонился к стене. От грохота орудий, стрельбы винтовок, отвратительного сухого треска пулеметов, от звона стекол и отчаянного воя нескольких собак, как-то очутившихся здесь же, метавшихся, словно угорелые, по двору, можно было оглохнуть.

— Товарищ, чего вы стоите!... Прячьтесь!... Бегите за нами! — раздались голоса выбежавших из дивизии матросов, и я вслед за ними бросился, точнее, кубарем вкатился в какой-то погреб. Там было уже полно. На ящиках, бочках, на полках и скамьях, в самых неудобных позах, стояли, сидели и лежали матросы и саперы. Все были ошеломлены ужасным грохотом, доносившимся снаружи. Все молчали, тяжело переводя дыхание.

Воспользовавшись ближайшей пятиминутной паузой, я выбежал во двор и, согнувшись, бегом устрем-

мился в здание дивизии, где обыкновенно заседал совет депутатов.

Я хотел узнать, в чем дело? Что предполагается делать дальше? Почему молчит «Потемкин»? Где все руководители и куда девалась вся наша публика?!

В дивизии никого не было. На столах и на полу валялись груды прокламаций, масса изорванной бумаги. Встретил А. Н. Мазина и С. Чекмарева (Клименко) и втроем направились к одному из экипажей. Было темно. Только прожекторы с броненосцев то и дело прорезали своими лучами темноту, помогая пехоте и артиллерии обстреливать повстанцев. Треск пулеметов, смешивавшийся с залпами из ружей, не прекращался. В одном из экипажей, защищенном от выстрелов соседними зданиями, лежали на койках матросы и, как ни в чем не бывало, покуривали, пускали по адресу драконов и масалок, т.-е. офицеров и пехотинцев, всевозможные любезности, передразнивали, словно дети, грохот орудий и трескотню пулеметов.

В каком-то помещении мы, наконец, нашли тех, кого искали. Члены совета сидели в маленькой комнатачке и ожесточенно, словно вперегонку, дымили папиросами. Лица у всех бледные. Наиболее спокойными казались матрос Кассасимов, огромнейшего роста, необычайно широкоплечий хохол, хладнокровный и уравновешенный, и другой матрос длиннобородый Кудымовский. Все депутаты уверены были, что утром их непременно расстреляют. Конторович предлагал на рассвете выйти и заявить усмирителям:

— Мы сдаемся... Вы победили, но правда за нами!..

Большинство депутатов, в том числе и Н. Л. Конторович, имели возможность легко скрыться еще

в самом начале стрельбы, но они **сознательно не сделали** этого, опасаясь, что это произведет дурное впечатление на рядовых участников восстания. Впоследствии все они были приговорены к смертной казни.

К пяти часам утра усилился штурм матросских казарм. Действовали по всем правилам военной науки. В ушах стоял такой оглушительный шум, что пришлось заткнуть их носовым платком. Целых сорок минут продолжалась без перерыва эта адская музыка. Наконец, к нам ворвались офицеры с револьверами в руках, бледные и встревоженные опасением, не устроили ли матросы какую-нибудь хитрую засаду... Рядом с офицерами кучи солдат-усмирителей, злых и угрюмых. Штурмовал нас, главным образом, Брестский полк, тот самый, который одно время присоединился к матросам. Начальство решило, что славные брестцы должны теперь искупить свой грех перед царем и отечеством...

Арестовали нас 1515 человек. С «Очакова» и других судов взято было еще человек 400.

Женщин, участниц и руководительниц восстания в это время арестовать не удалось, как ни охотились за ними. За несколько дней до усмирения матросы, почувствовав, что дело начинает принимать **серезный** оборот, настояли на удалении из экипажей женщин-руководительниц. Обыкновенно матросы и солдаты с напряженным интересом слушали ораторщ, считались с мнением организаторщ: тов. Нина, Наташа и Ольга всегда пользовались у них огромным авторитетом. Но здесь-то они вдруг решили:

— Не надо нам баб... Без них обойдемся!.. Сами знаем, что делать...

Пришлось уступить и все три женщины ушли из совета.

Восстание было подавлено.

Когда на крейсере начался пожар, Шмидт с находившимся при нем 16-летним сыном, Евгением, одним из последних пересел на шлюпку. Град пуль засыпал ее, и Шмидт упал в воду. Теряя сознание и вытащенный кем-то из воды, он очутился на миноносце № 270 и был доставлен на «Ростислав».

Как уверяет очаковец Карнаухов, офицеры «Ростислава» плевали Шмидту в лицо и кричали:

— А где твоя чернь, с которой целовался?...

Особенно выделялся своим остервенелым хулиганством старший офицер «Ростислава» лейтенант Карказ.

— Ага, вот он, командующий флотом, вот он, сволочь эта! — неистово кричал он, едва Шмидта внесли на броненосец — тащите эту сволочь!

Не довольствуясь этим, Карказ приказал конвою взять под арест сына Шмидта, Евгения.

— Бери мальчишку, — закричал он. — Этой молодой сволочи будет такая же дорога, как и старому мерзавцу...

От слабости П. П. Шмидт впал в обморочное состояние. Но издевательства, в которых принимали участие также и судовые врачи Федотов и Антонов, долго еще продолжались. Конец им положил командр броненосца адмирал Федосеев.

Однако остервенение против мятежного лейтенанта со стороны офицеров было так велико, что, несмотря на сравнительно человеческое отношение к Шмидту адмирала Федосеева, лейтенант Карказ при поддержке одних и робких протестах других продолжал издеваться над арестованными отцом и сыном: держал их впроголодь, отказывался выдать матрацы, одеяло и подушку, отнял папиросы.

Заливаясь мефистофельским хохотом, Карказ угрожающе приказал сыну Шмидта пройти с ночной посудой через командное помещение, надеясь рассмешить этим зреющим матросов...

* * *

7 февраля 1906 г. в г. Очакове происходил военно-морской суд. «Очаковцы», как и мы все, обвинялись по 100 и 109 ст. («вооруженное восстание с целью низвержения существующего в России государственного и общественного строя»).

Ожидая суда, Шмидт в первое время твердо решил отказаться от помощи адвокатов и защищаться сам. Узнав же, что предполагается приезд выдающихся защитников, О. О. Груzenberга, А. С. Зарудного, Соколова, Муравьева, Врублевского, А. М. Александрова и других, Шмидт решил, что союз адвокатов, побуждаемый общественной симпатией к подсудимому, сумеет вырвать его из пасти крокодила.

Побуждало его к этому и следующее обстоятельство: «ведь, со мною на скамье подсудимых—писал он—будет много скромных героев народного дела, матросов; защищая меня, они станут защитниками и моих товарищей-матросов, а этих несчастных я не имею права лишать такой сильной защиты.

Впрочем, надежды на их защиту в смысле успеха у меня нет никакой. Помнишь, сколько раз эти страстные усилия наших честнейших, талантливейших юристов разбивались о холод сердец и тупых мыслей военного суда, а с военно-морским судом еще безнадежнее обстоит дело. Тут, ведь, будут судить меня враги, фактические враги по бою 15 ноября, враги, которые уже доказали мне, как много в них низменной мстительности, доказали мне, как они же-

стоки, когда я был у них в руках почти без сознания от долгого пребывания в ледяной воде и раненый. Эти офицеры флота никогда моим уважением не пользовались, но после истязаний (**потому что их обращение со мною было равносильно истязанию**) я глубоко презираю их. И они-то будут судить меня».

Известно, что Николай II, а по его приказанию и морской министр Бирлев всячески понуждали Чухнина ускорить суд над «очаковцами». Сам Николай II неоднократно спрашивал:

«Когда же наконец, покончат с этим изменником?...»

Фрондировавший тогда, в душе сочувствовавший Шмидту, граф Витте думал облегчить его участь, заявляя, что Шмидт, мол, душевно болен (кстати, в этом же направлении старались действовать некоторые из адвокатов, что вызвало решительный протест самого Шмидта), но на Николая II не подействовал и этот довод.

Суд начался в Очакове 7 февраля и продолжался более $1\frac{1}{2}$ недель.

В числе судей были и командиры судов «Ростислав», «Синоп» и «Память Меркурия», т.-е. тех судов, которые обстреливали «Очаков».

Председателем суда был полковник Александров.

«Этот маленький человек, с деревянным лицом, был как нельзя более на месте: он, не мигнув глазом, выносил смертные приговоры», — пишет про него, кстати, не допущенная даже сестра Шмидта на суд.

Во время допросов Шмидт всю ответственность брал на себя, всячески умаляя степень сознательного участия в событиях самих матросов. «Они выполняли мои приказания — пробовал он доказывать судьям. — Я их заставлял клясться кровью христа и его терновым венцом... Казните меня самыми жестокими пытками, если нужны мои страдания,

если нужна моя кровь, только их, матросов, не трогайте», — в таких выражениях, Шмидт пытался выгородить своих сопротивников.

В своей речи Шмидт доказывал, что верность народу, присяга ему требовала от него и его сопротивников нарушения существующих законов. Отрекшись от принадлежности к республиканским партиям и заявив себя в то же время социалистом, требующим расширения общинного землевладения, Шмидт остановился на коренном противоречии между верностью народу и верностью закону.

«Пройдут года, забудутся наши имена, но ту боевую силу, которая присоединилась к «Очакову» и тем осталась верной народу и присяге, имена этих 10 судов не забудут, они всегда останутся в летописях народа. Но **точная буква законов**, самые статьи свода **против меня**, они противоречат высказанному мною. Да они и не могут не противоречить, когда утвержденные законами представители власти стали в открыто враждебное отношение к народу и в скрыто враждебное **отношение к трону**. В такое время государственного хаоса, когда все в стране так спуталось, что русские власти пошли войной на Россию, нельзя руководиться статьями закона, нужно искать иных общих, всем народом признанных, определений преступного и непреступного.

«В такое время, чтобы оставаться законным, приходится изменять присяге и, оставаясь верным присяге, приходится нарушать законы. Не преступен я, раз мои стремления разделяются всем народом и не противоречат присяге, а, напротив, опираются на нее. Не преступен я, раз в моих деяниях не видит преступления весь 100-миллионный народ русский...

«Мне говорят о статьях закона, о военном положении и т. д. Я не знаю, не хочу, не могу оценивать все произшедшее статьями закона. Я здаю один

закон, закон долга перед родиной, которую вот уже три года заливают русской кровью. Заливает малочисленная, преступная группа людей, захватившая власть и **отделившая государя от своего народа**.

Еще раз напомнив о своей, якобы, органической приверженности к «мирным» средствам борьбы и отвращении к «мятежным восстаниям», словом, полу-бессознательно смягчив свою роль в революционном движении, Шмидт с неподдельным трагическим пафосом вспоминает, как он глядел прямо в лицо смерти:

«Зачем не убили меня офицеры; когда я нарочно малым ходом на миноносеце, стоя один на мостице, об'езжал по борту вплотную все броненосцы, подставляя им открытую грудь свою? Зачем не убили меня офицеры на «Пруте», когда я один вошел к ним, предлагая им убить меня, клялся им, что никто из них не пострадает, но что, если они не убьют меня, я освобожу потемкинцев?

«Отчего я не был убит на «Очакове» под этим, невиданным в истории войн, стальным градом? Не убили меня, когда я был в воде, засыпанный пулеметами? Отчего не убили меня, когда я, теряя сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?

«Отчего не убили меня на «Ростиславе» офицеры, когда они издевались надо мною, и я совершенно уж терял последние силы, но все же искал смерти. Ко мне подошел адмирал Федосеев и спросил что-то, я не помню что, но я помню, что я ответил ему: одна смертная казнь остановит меня. И если бы я ему ответил иначе, то весь русский народ имел бы право сказать мне: и прочь, изменник, ты не видишь, что мы все умираем в этой страшной борьбе.

«Не коснулась меня витавшая вокруг смерть, когда я искал ее.

«Для того ли я остался в живых, чтобы быть поставленным здесь у скамьи подсудимых, чтобы могла видеть вся Россия, соучастница дел моих, что судят за то, что я остался верен народу своему? Да, я выполнил долг свой, и если меня ждет казнь, то жизнь среди народа, которому изменил бы я, была бы страшнее самой смерти. Не горсть матросов, нарушивших дисциплину, чтобы остаться верными присяге, и не гражданин Шмидт перед вами. Перед вами здесь на скамье подсудимых вся 100-миллионная Россия, ей вы вынесете свой приговор, она ждет вашего решения!»

В своем последнем слове Шмидт сказал:

«Г. г. судьи! перед вами прошло дело, во главе которого был я.

«Не могло это дело стать совершенно ясным, так, как оно явилось здесь, как обрывок общего великого русского дела, самая сложность которого не позволяет нам, современникам, обнять его беспристрастным взором. И этот обрывок русского дела, слабо освещенный свидетельскими показаниями, ждет теперь вашего приговора!

...«Я говорил вам, г. г. судьи, что не должно быть в этом деле произнесено ни единого слова неправды— только одну правду вы слышали от меня и, я знаю, вы верили мне. Серьезность моего положения, ответственность перед родиной побуждает меня еще раз сказать о тех молодых жизнях, которые ждут со мной вашего приговора. Клянусь вам, что те случайные свидетельские показания, которые установили ряд улик против того или другого матроса и тем увеличили вину некоторых из них, не могут, не должны быть приняты во внимание.

«Верьте мне, что все они были передо мною совершенно **однородной толпой**, что никому из них нельзя вменять в вину близость к Шмидту. Все они

были одинаково близки мне и, если я обращался к ним со словом, то ко всем сразу. Верьте же, г. г. судьи, что никого из них нельзя карать со мной равным приговором.

«Верьте мне, что сама правда требует, чтобы ответил я один за это дело, в полной мере, сама правда повелевает выделить меня. Я не прошу снисхождения вашего, я не жду его. Велика, беспредельна ваша власть, но нет робости во мне, и не смутится дух мой, когда услышу ваш приговор.

«Россия не первая переживает дни потрясений, и в истории всех народов, при взаимном столкновении двух начал—отжившей и молодой народной жизни, были всегда жертвы. В минуту государственного хаоса не могут не возникнуть такие глубоко-трагические недоразумения.

«Я встречу приговор ваш без горечи, и ни минуты не шевельнется во мне упрек вам. Я знаю, что вы, г. г. судьи, страдаете не меньше нас; **вы также, как и мы, жертвы** переживаемых потрясений народных.

«Без ропота и протesta приму смерть от вас, но не вижу, не признаю вины за собой!

«Когда дарованные блага начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди!

«Я знаю, что столб, у которого я приму смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины.

«Позади за спиной у меня останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, обновленную, счастливую Россию. Великая радость и счастье заполняет мне душу, и я приму смерть».

Речь Шмидта привела потрясающее впечатление: плакали матросы и адвокаты, а конвойные солдаты отставили свои ружья, словно загипнотизированные. Прокурор, полковник И. Н. Ронжин, вытирая глаза... Слезы показались на момент даже на каменном лице председателя суда, полковника Александрова.

Это, конечно, не помешало Александрову и его коллегам приговорить к смертной казни Шмидта и заодно уже — Сергея Частника, Александра Гладкова и Никиту Антоненко.

«Наконец, вывели из здания суда Петра Петровича... Он был бледен, как полотно... — пишет З. Р. — Мы поплелись за ним. Плакать не могли: окаменели.

«Нам дали свидание. Вошли в гауптвахту. Нас охватила серьезность, глубина момента. Никто из нас не мог проронить ни слова. Наконец Петр Петрович нарушил мучительное, тяжелое молчание. Он обратился к сестре с дрожью в голосе:

«Спасибо, Аня, тебе за все, за все, что сделала ты мне, и если в жизни когда-нибудь что было между нами, забудь, за все прости. Сыну передай (его не было на процессе в Очакове) мой последний завет: лучше погибнуть, чем изменить долг! Внуши ему эти слова, пусть так живет. А ты, — обратился он ко мне, — думала ли ты, что все это приведет тебя к такой развязке? Спасибо тебе за полгода переписки и за твой приезд».

«Мы ушли. Завтра приговор в окончательной форме.

«На другой день, 18 февраля, в 12 час. дня, мы были в военном собрании.

«Только-что прочли приговор в окончательной форме и разрешили нам проститься с Петром Петровичем здесь же, в здании суда. Вошли в небольшую комнату, куда через минут опять ввели Шмидта кон-

войные. Он сел на лавке рядом с нами. Был бледен... Осунулся... Принесли на тарелочке какие-то бутерброды с семгой и сыром. Мы убеждали Петра Петровича с'есть бутерброд; он просил нас о том же, и мы ели, куски застревали в горле. Опять Шмидт вспомнил сына.

«Передай Жене, пусть стойко перенесет все», — обратился он к Анне Петровне. Голос его дрожал, как бы собравши все свои силы, сказал мне ровным, спокойным голосом:

«Пришли мне бертолетовой соли, что-то горло болит. Что же, они будут вешать за больное горло?» *).

«Вошел ротмистр, дал знак конвойным, что конец свиданию. Мы стали прощаться. Мне хотелось опуститься на колени перед Шмидтом, но я этого не сделала. Я молча прильнула к его руке... Он обнял меня, обнял сестру и заторопился... Конвойные вывели его. Вышли мы за ним. У подъезда собрания выстраивали осужденных матросов, их окружал очень сильный конвой. Немножко в стороне стояли Частник, Антоненко, Гладков, окруженные солдатами с винтовками. У Частника на лице была написана такая же железная воля, такая же воля духа, как в первый раз, когда я его увидела, лишь мертвенная бледность лица выдавала его состояние. К ним подвели Шмидта. Скомандовали строиться... Построились... Впереди ехали казаки с пиками, затем, окруженные пехотными солдатами с винтовками, шли осужденные матросы. За ними следовали Шмидт, Частник, Антоненко, Гладков.

*) Ш. был первоначально приговорен к повешению, а не к расстрелу, вовсе не потому (как утверждает т. Гелис), что на него смотрели, как на «уголовного и закоренелого преступника», а по той простой причине, что в момент ареста, Ш. уже не числился военно-служащим. В конце концов — повешение было заменено расстрелом.

Осужденных окружал невиданный по количеству конвой. Я спросила, куда поведут. Оказалось, на катер, который ожидал, чтобы переправить осужденных на транспорт «Пррут», где осужденные будут ждать конфирмации приговора. Мы пошли с Анной Петровной за конвоем Петра Петровича, окруженные тоже солдатами. Осужденные матросы запели какую-то революционную песню, но Шмидт сейчас же оборвал их.

— Замолчите,—крикнул он,—не унижайтесь, не устраивайте зрелища!

А. П. Избаш передает этот момент так:

«Шел он ровно, спокойным шагом. Спокойно смотрел вперед и вокруг... За нами вели Частника, двух студентов и Ялинича. Студенты запели что-то, брат повернулся к ним голову и тихо сказал:

— «Не нарушайте торжественности».

«Матросы срывали с себя погоны и георгиевские ленточки с шапок и бросали на землю и топтали их ногами. Я несколько подобрала. Пришлось пройти весь Очаков. Конвой был необыкновенно велик: здесь были казаки, были пехотные и артиллерийские солдаты, жандармы... Весь Очаков, все жители города вышли на улицу и шпалерами стояли по обеим сторонам.

Люди взгромоздились на крыши, облепили деревья: многие прикладывали носовые платки к глазам... Прошли дамбу... У дамбы легко покачивался катер. На рейде стоял транспорт «Пррут»—белый, как чайка. Остановились. Последний раз позволили подойти к Петру Петровичу, последний раз он обнял нас... Стали торопить их, гнать в этот катер. Шмидт оглядывался, снимал шапку, прощался с нами... Усадили всех... Забурлил, зашумел катер и стал плыть от берега вдаль... Мы впились глазами в ухо-

дящий катер, он все меньше, меньше становился и, наконец, превратился в точку... Итак, все кончено».

Несмотря на небывалый поток массовых протестов и ходатайств общественных организаций и частных лиц, начиная с проф. Максима Ковалевского и кончая студентами Духовной академии, ссылавшимися на заветы христа, несмотря на не было шумную газетную кампанию с требованием помилования Шмидта, несмотря на ходатайство об этом даже такого человека, как глава правительства, графа С. Ю. Витте,—Николай Романов все же настаивал на смертной казни. Возможно даже, что правительство царя, воевавшее тогда с «обществом» и «народом», именно вследствие всех этих ходатайств не пожелало прислушиваться к много голосому хору лиц и учреждений, ходатайствовавших об оставлении Шмидта в живых.

На свое прошение, поданное на «высочайшее имя» о помиловании брата, А. П. Избаш получила такой же отказ, какой она получила и от генерала Каульбарса, и от адмирала Бирюлева, и от военного прокурора Павлова и других. Некоторые из этих сановников отказались даже принять ее.

Адмир. Чухнин конфирировал приговор 4-го марта, дней через 12 после его первоначального вынесения. Узнав, что расстреляны будут и трое матросов, Шмидт, который **совершенно спокойно** выслушал свой собственный приговор, зарыдал и повторял несколько раз:

— Это дети, зачем их приговорили к смерти?..

6 марта, рано на рассвете, на заброшенном и пустынном островке «Березань», что возле города Очакова, Шмидт, Частник, Гладков и Антоненко были расстреляны.

Накануне казни любвеобильное и христианней-

шее начальство командировало доктора Федотова *) освидетельствовать здоровье Шмидта. Доктор этот знал лейтенанта и отца его еще по Бердянску.

— Петр Петрович не болит ли у вас голова? Может быть, вам нездоровится? — спрашивал доктор человека, часы жизни которого были уже сочтены.

Расстреливали осужденных молодые матросы с канонерской лодки «Терещ», — было их 40 человек. За ними в тыл стояли с заряженными ружьями пехотные солдаты. Командовал расстрелом Михаил С. **), знавший Шмидта с 12 лет, вместе с ним учившийся в Морском училище, и по словам А. П. Избаш, лично очень хорошо к нему относившийся...

Начальство приказало, и «друг детства» пошел на столь гнусное дело»...

Уже на месте казни в последнем своем слове Шмидт просил передать его последнее «прости» родному Черноморскому флоту, всем морякам России, Торговому флоту. Трогательно прощался он с Частником, Гладковым и Антоненко... Обнял их, утешал словами:

— Поймите, родные, за что погибаем, за какое великое дело — дело свободы. Простим всем перед смертью...

Саванов не надевали и глаз не завязывали и даже не привязывали к столбу.

Медленно подошел Шмидт к столбу, повернулся к палачам, уже изготавлившим ружья, скинул взглядом новые готовые гробы, которые не потрудились даже убрать подальше, и сделал движение

*) А. П. Избаш обозначает этого доктора буквой Д.

**) Кстати, весной 1923 г. М. Ставраки был судим и расстрелян. К этому времени 56-летний М. Ставраки умудрился проникнуть в РКП и занимал ответственные посты на советской службе. Из РКП он, впрочем, был исключен еще до ареста, как лишний балласт,

рукой, как бы в знак начинать. Лицо его было спокойно, осанка гордая, голова высоко поднята.

После первого залпа Шмидт и Частник пали замертво. Потом был убит Гладков.

Антоненко был еще жив, и потому уже уходивших палачей вернули обратно к месту казни и приказали им достреливать его, а Антоненко трогал рукой свою кровь и говорил:

— Вот кровь моя льется.

Из 41 подсудимого по «Очаковскому делу» было оправдано 10 человек, присуждено к каторге (некоторые из них первоначально — к казни) 18 человек, к арестантским ротам — 9 человек. Расстреляно 4 человека.

Из штатских участников восстания: рабочий (живший по паспорту Ялиница) был приговорен к казни, замененной в виду его несовершеннолетия бессрочной каторгой. По 10 лет каторги получили студенты Александр Владимирович Пятин и Петр Александрович Моищеев.

* *

«Знаете, кто я теперь такой? — писал Шмидт еще до начала восстания все той же Зинаиде Ивановне Р. — Я пожизненный депутат севастопольских рабочих. Понимаете ли, сколько счастливой гордости у меня от этого звания. **«Пожизненный»**, этим хотели они меня выделить из своих депутатов, подчеркнуть свое доверие на всю мою жизнь, показать мне, что они знают, что **я жизнь положу за интересы рабочих** и никогда им не изменю до гроба. Вот какую великую честь они сделали мне. Я должен это ценить вдвое, потому что, — что может быть более чуждым, как офицер для рабочих. А они сумели своими чуткими душами снять с меня ненавистную мне офицерскую оболочку и признать во мне их товарища, друга иносителя их нужд на всю жизнь. Не знаю, есть

ли еще кто-нибудь с таким званием, но мне кажется, что выше этого звания нет на свете.

Меня преступное правительство может лишить всего, всех их глупых ярлыков: дворянства, чинов, прав состояния, но не во власти правительства лишить меня моего единственного звания отныне: **пожизненного депутата рабочих.**

О, я сумею умереть за них! Сумею душу свою положить за них! И ни один из них никогда, ни они, ни их дети не пожалеют, что дали мне это звание!»

Спустя два месяца, находясь уже в крепости города Очакова в ожидании суда, Шмидт писал:

«О, суд скорый и неправый, когда же русский народ сотрет тебя с лица нашей истощенной земли! Скоро, скоро молодая, сильная, счастливая Россия вздохнет свободно и не забудет всех нас, отдавших ей свои жизни. Я недаром прожил, Зина, я тоже внес свою лепту в народное дело, я дал лишнюю волну протеста, осмыслил его своим руководством, хотя сознавал его несвоевременность, но это не от меня зависело».

Находясь уже в предсмертном томлении, чувствуя приближение избавительницы от мук и страданий, Петр Петрович писал в последнем, самом последнем своем письме: «**В моем деле было много ошибок и беспорядочности, но моя смерть все довершит, и тогда, увенчанное казнью, мое дело станет безупречным и совершенным.** Я проникнут важностью и значительностью своей смерти, а потому иду на нее бодро, радостно и торжественно. Я далеко отошел от жизни и уже порвал все связи с землей. На душе тихо и хорошо. Прощай».

В деле т.е. в севастопольском восстании было много ошибок, отчасти вытекавших из неопытности и новизны дела. Ровно через 12 лет — в ноябре 1917 г.—матросы и солдаты, т.-е. вооруженные рабочие и крестьяне исправили эти ошибки.